

Кони Анатолий Федорович

Тургенев и Савина

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А64

А64 **Анатолий Федорович К.**
Тургенев и Савина / Кони Анатолий Федорович – М.: Книга по Требованию, 2024. –
153 с.

ISBN 978-5-519-90139-0

Письма И.С. Тургенева к М.Г. Савиной; Воспоминания М.Г. Савиной об И.С. Тургеневе, Филологические науки Художественная литература. Россия. Русская литература. 2-ая пол 19 в до сер 90-х гг.. Персоналии писателей. Тургенев Иван Сергеевич 1818-1883 - писатель. Биография писателя. Взаимоотношения писателя с современниками, ИскусствоИскусствознание. Театр. Драматический театр. История драматического театра. Российская Федерация. Русский драматический театр. 19 в-- Савина Мария Гавриловна 1854 - 1915 - артистка театра. Переписка

ISBN 978-5-519-90139-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Исполнившееся столѣтіе со дня рожденія Ивана Сергѣевича Тургенева (род. 28-го октября стар. ст. 1818 г.), несомнѣнно, вызываетъ особую потребность въ оживленіи и обновленіи воспоминаній о немъ. Настоящее изданіе — „Тургеневъ и Савина“ — открываетъ новыя страницы изъ жизни и дѣятельности знаменитаго писателя и высоко-даровитой артистки-художницы — и рисуетъ тѣсную связь между литературой и сценой. Появленіе въ свѣтъ этой книги приняло на себя Управление Государственными Театрами, которое отнеслось съ горячимъ сочувствіемъ къ обнародованію заключающихся въ ней цѣнныхъ матеріаловъ для характеристики двухъ выдающихся дѣятелей, беззавѣтно послужившихъ своимъ дарованіемъ широкимъ задачамъ отечественнаго просвѣщенія и русскаго театра въ частности.

8-го сентября 1915 года русская сцена понесла тяжкую и глубокую потерю: скончалась Марія Гавриловна Савина. Для тѣхъ, кто имѣлъ счастливую возможность слышать и созерцать ея игру, любоваться тонкими и нѣжными оттѣнками ея исполненія и уносить, благодаря ей, въ душѣ своей яркій и иногда вполне самобытный, созданный ею, образъ, — ея кончина была огромнымъ лишеніемъ въ области нравственнаго и эстетическаго наслажденія, доставляемаго театромъ. Для Савиной сцена была любимымъ поприщемъ для самостоятельнаго творчества, не ограничивающагося умѣлымъ и достовѣрнымъ изображеніемъ того, что задумано авторомъ. Она стремилась въ олицетвореніе созданнаго авторомъ образа вложить свое личное проникновеніе духовной сущности и бытовыхъ условій этого образа. Становясь истолковательницей автора публикѣ, она нерѣдко своимъ пониманіемъ внутренняго міра изображаемаго лица уясняла самому автору то, что имъ, — быть можетъ, безсознательно, — было вложено въ это лицо, какъ возможность, и обращала эту возможность въ дѣйствительность. Эта способность проникновенія, свойственная лишь великимъ артистамъ, распространялась у Савиной не только на изображаемую личность съ ея страданіями и страстями, съ ея сердечными муками и душевной чистотой, но и на всю среду, обстановку, бытовые и историческія условія, подъ вліяніемъ которыхъ жила и развивалась эта личность. Благодаря

этой, если можно такъ выразиться, „ретроспективной интуиціи“, въ исполненіи Савиной чудилось и видѣлось давно минувшее время со всѣми своими особенностями, а также необычное по вдумчивости пониманіе характерныхъ свойствъ настоящаго, не только не испытаннаго, но и не виданнаго ею. Какой бы женскій образъ она ни создавала, зрителя всегда поражала бытовая или историческая жизненность послѣдняго. Ему приходилось невольно преклониться предъ умомъ, знаніемъ и талантомъ артистки, умѣющей съ одинаковой силой и чуткостью воплотить рядъ самыхъ разнообразныхъ женскихъ типовъ въ ихъ яркихъ переживаніяхъ, начиная съ горемычнаго, но гордаго существа, порвавшаго съ недавнимъ настоящимъ во имя неяснаго и для нея неосуществимаго будущаго, и кончая „жертвой общественнаго темперамента“, со всѣми ея ухватками...

Для тѣхъ же, кто имѣлъ радость бывать въ личномъ общеніи съ Савиной, кто зналъ ее не только по сценѣ, но и въ частной жизни, ея уходъ „за грань земного кругозора“ былъ двойной и горестной утратой. Въ ея лицѣ изъ ихъ духовнаго обихода ушла обладательница ума, тонкаго и проницательнаго, способнаго, благодаря широкому развитію на почвѣ неустаннаго самообразованія, все понимать и перерабатывать,—обладательница образнаго, красочнаго и точнаго слова для выраженія изящной, въ своемъ художественномъ обличій, мысли, не лишенной по временамъ ироніи и затаенной насмѣшки. Все это, въ соединеніи съ плѣнительной внѣшностью и въ особенности съ удивительными по живости выраженія, блеску и внутреннему огню глазами Савиной,—заставляло крайне дорожить бесѣдой съ нею и пребываніемъ въ одномъ съ нею обществѣ, которое она своимъ присутствіемъ всегда умѣла оживлять и поднимать отъ обычной пошлой обыденности въ область искусства и общихъ вопросовъ. Къ послѣднимъ она относилась очень отзывчиво и была въ этомъ отношеніи выдающимся дѣятелемъ въ области общественной благотворительности. Охотно и широко расходуя свое слабое здоровье и жертвуя скудными часами необходимаго отдыха, она постоянно участвовала въ разныхъ благотворительныхъ чтеніяхъ и концертахъ, устраивала спектакли въ пользу больныхъ артистовъ или семей умершихъ, стучалась въ двери вліятельныхъ лицъ съ просьбами объ облегченіи участи тѣхъ, кого сбили съ пути несчастно сложившіяся условія жизни. Ей обязано своимъ устройствомъ Убѣжище для престарѣлыхъ сценическихъ дѣятелей въ Петроградѣ и при ея дѣятельномъ, сердечномъ и неизмѣнномъ участіи возникъ и процвѣталъ Пріютъ для дѣтей артистовъ. Нужда и трудныя обстоятельства ея товарищей по артистическому оружію встрѣчали въ ней всегда сочувственный и дѣятельный откликъ, какъ бы далеко ни стояли отъ нея по своему сценическому положенію эти товарищи. Вотъ почему на похоронахъ Савиной, у ея отверстой могилы, общее сочувствіе всѣхъ окружающихъ вызвали трогательныя слова одного изъ артистовъ:—„Когда прозвучитъ труба послѣдняго суда, и русскіе артисты предстанутъ предъ Вѣчнаго Судью со своими несчастіями, слабостями, испытаніями и слезами,—Савина станетъ въ ихъ ряды и скажетъ:—„И я съ ними и за нихъ!“...

Интересъ, вызываемый ея талантомъ и ея личностью, привлекалъ въ кругъ ея знакомыхъ, какъ и слѣдовало ожидать, многихъ представителей литературы, и притомъ наиболѣе выдающихся. Достаточно назвать Тургенева, Гончарова... Творенія перваго она особенно любила и, когда ставилось „Дворянское гнѣздо“, въ передѣлкѣ Вейнберга для сцены, она, готовившаяся играть роль Лизы,—и какъ игравшая!—„пережила“,—по ея словамъ,—„всѣ муки ада, стараясь олицетворить этотъ

чудный образъ достойно памяти Ивана Сергѣевича“ и считала свою попытку „дерзкою и даже чудовищною“, утѣшая себя лишь тѣмъ, что публика хоть услышитъ чудный языкъ Тургенева. Кромѣ увлеченія произведеніями Тургенева и имъ самимъ, насколько онъ въ нихъ сказывался, Савину связывала съ писателемъ и ея страстная любовь къ природѣ, которою она, „живя всю жизнь въ бутафорскомъ лѣсу и дыша пылью кулисъ“, восхищалась до умиленія, до слезъ. А кто же лучше Тургенева умѣлъ захватывать читателя именно картинами природы?!...

Послѣ первой встрѣчи съ Тургеневымъ, у Савиной возникли съ нимъ самыя теплыя отношенія и частая переписка. Ея письма, послѣ смерти нашего знаменитаго писателя въ Парижѣ, въ 1883 году, не были, какъ это обычно дѣлается, возвращены ей; но его письма сохранены ею съ благоговѣйнымъ вниманіемъ, „какъ святыня“.—Извѣстность выдающагося артиста, какъ воплотителя житейскихъ и поэтическихъ образовъ, имѣетъ одну завидную особенность: она не сопряжена съ нравственной отвѣтственностью и не влечетъ за собою ни строгаго осужденія прозрѣвшаго человѣчества, ни суда исторіи, ни угрызений совѣсти, напоминающей о средствахъ, которыми иногда куплена слава полководца, политика, властителя. Но она, вмѣстѣ съ тѣмъ, временна и непрочна. За извѣстнаго дѣятеля на поприщѣ другихъ искусствъ или въ области государственной говорятъ неприкосновенная цѣлость ихъ творческихъ трудовъ или безчисленные историческія и житейскія послѣдствія ихъ дѣлъ. Иногда не признанная или скупомъ отмѣренная современниками слава такого дѣятеля растетъ и расширяется, подобно звукамъ индійскаго гонга. Но не такова судьба сценическаго дѣятеля. Его извѣстность поддерживается почти исключительно живыми свидѣтелями того, какъ прочно или глубоко вліялъ онъ на зрителей и слушателей; совокупность ихъ однородныхъ впечатлѣній и воспоминаній создаетъ конкретный обликъ артиста. Но когда они уходятъ, а за ними слѣдуютъ и тѣ, кому они передали свои непосредственныя ощущенія,—живое представленіе объ артистѣ начинаетъ быстро сглаживаться, теряя свою яркость, и громкія имена людей, потрясавшихъ сердца,—имена Кина, Гаррика, Тальмы,—ничего яснаго и опредѣленнаго не говорятъ послѣдующимъ поколѣніямъ. Извѣстность носителей этихъ именъ принимается на-вѣру, такъ сказать, въ кредитъ. Имя артиста переживаетъ дѣло его творчества; въ другихъ областяхъ нерѣдко дѣло переживаетъ имя.—Въ исторіи русскаго театра имя Савиной навсегда займетъ видное мѣсто. Но хотѣлось бы, чтобы, какъ можно дольше, сохранились жизненные черты ея облика, не только какъ артистки, но и какъ живого человѣка. Для этого, конечно, желательно сберечь воспоминанія о ней, оцѣнки ея таланта и дѣятельности, характеристики и т. д. Любящая рука супруга собрала въ этомъ смыслѣ многое и создала богатый по содержанію и проникающему его чувству сборникъ въ двухъ томахъ, подъ названіемъ: „Кончина М. Г. Савиной“.

Есть, однако, нѣчто болѣе драгоцѣнное, болѣе непосредственное, чѣмъ всякаго рода статьи и мемуары: письма. Въ нихъ, если они не предназначаются для печати, пишущій высказывается обыкновенно съ болѣею откровенностью и рѣшительностью, такъ сказать, по горячимъ слѣдамъ возникшихъ у него мыслей и чувствъ, не заботясь о формѣ и имѣя въ виду лишь того, къ кому онъ пишетъ. Въ этомъ смыслѣ чрезвычайно цѣнна и интересна можетъ быть переписка двухъ лицъ между собою; но и письма лишь одного изъ нихъ, если это человѣкъ выдающійся, рисуютъ очень часто не только его, но и того, кому онъ пишетъ, причемъ

образъ послѣдняго можетъ выступать особенно ярко. Излишне указывать на многочисленныя собранія такихъ одностороннихъ по источнику и двустороннихъ по вызываемому ими впечатлѣнію писемъ. Достаточно указать хотя бы на письма Мирабо къ Софіи Моннье, „Lettres à une inconnue“ („Письма къ неизвѣстной“) Проспера Мериме или письма Самарина къ баронессѣ Радень. Исходя изъ такихъ соображеній, Анатолій Евграфовичъ Молчановъ, обладатель и хранитель писемъ Тургенева къ Савиной, рѣшилъ опубликовать ихъ, принявъ на себя трудъ снабженія ихъ необходимыми выносками, примѣчаніями и комментаріями. Теперь, когда, въ виду наступающаго столѣтняго юбилея со дня рожденія Тургенева, мысль невольно обращается къ нему, письма эти, какъ нельзя болѣе, кстати. Интересныя и полныя искренняго чувства и блеска, они даютъ возможность взглянуть въ одну изъ страницъ жизни нашего незабвеннаго писателя. Но прежде, чѣмъ обратиться къ этой страницѣ и вполне ее понять, приходится хоть въ самыхъ общихъ чертахъ коснуться личности и творчества Тургенева.



Вдумчивый созерцатель, отразившій художественно-правдиво въ своихъ чудесныхъ по формѣ и языку произведеніяхъ современную ему русскую жизнь съ ея типическими представителями и бытовымъ укладомъ, Тургеневъ навсегда занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ не только въ области литературнаго творчества, но и въ исторіи нравственнаго развитія современнаго ему русскаго общества. Эти произведенія, вызывавшія при своемъ появленіи горячую критическую оцѣнку, производили на читателей глубокое впечатлѣніе, оставляя въ ихъ душѣ неизгладимый слѣдъ, вслѣдствіе проникавшей ихъ человѣчности, и притомъ не отвлеченной, а вложенной въ изображеніе дѣйствительной жизни. Главнѣйшія дѣйствующія лица, выводимыя Тургеневымъ въ самыхъ разнообразныхъ житейскихъ положеніяхъ и отношеніяхъ, врѣзывались въ память, какъ живые, и оставляли въ ней свои характерныя черты, дававшія возможность связывать съ ихъ именемъ, подобно именамъ Чичикова или Обломова, мысль о переживаніяхъ, испытанныхъ русской дѣйствительностью. Рудинъ и Базаровъ сдѣлались именами нарицательными, которыми вызывалось совершенно опредѣленное представленіе о душевномъ складѣ цѣлаго ряда лицъ въ тотъ или другой періодъ русской жизни,—въ сороковые годы застоя и подавленія всякой общественной дѣятельности,—въ шестидесятые годы—такъ называемой „эпохи великихъ реформъ“—и въ семидесятые годы обостренія взглядовъ и направленій между противоположными лагерями. Оставаясь въ содержаніи и формѣ своихъ произведеній реалистомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, Тургеневъ умѣлъ вкладывать въ нихъ душу и приемы поэта и, глубоко трогая читателя ихъ заключительными аккордами, вызывать въ немъ настроеніе, часто близкое къ умиленію. Подобное этому впечатлѣніе и понынѣ производятъ его удивительныя описанія природы, проникнутыя таинственной гармоніей между нею и душевными настроеніями. Отмѣчая въ большинствѣ своихъ героевъ многія прекрасныя свойства русскаго человѣка, онъ рисовалъ слабость и нерѣдко полное отсутствіе въ немъ воли и вялость характера, выражающіяся въ наклонности

желать и неспособности хотѣть. Этимъ „заѣденнымъ ковыряніемъ“ въ своей душѣ онъ противопоставлялъ лишь одного Базарова и стремился внушить читателю симпатію къ этому своему излюбленному представителю честной и грубой прямоты. Къ русской женщинѣ Тургеневъ относился съ гораздо большимъ довѣріемъ и возлагалъ на ея душевныя силы великое упованіе. Ему принадлежитъ первое мѣсто среди изобразителей русской женщины и толкователей ея душевнаго строя.—Впервые русскую женщину намъ показалъ Пушкинъ, — „Бѣдная Лиза“ Карамзина, „прекрасная тѣломъ и душою, нѣжная и чувствительная поселанка“, кромѣ имени и внѣшней обстановки, ничего не имѣла въ себѣ національнаго и типическаго.—Не создалъ русской женщины и Гоголь, несмотря на обѣщаніе показать ее во всемъ блескѣ душевной красоты. Его Уленька второй части „Мертвыхъ душъ“ — не живое лицо.—Чудесна Татьяна, вся озаренная лучами ума и сердца великаго поэта, но она, по условіямъ жизни и воспитанію, принадлежитъ къ одному лишь слою общества. Она — олицетвореніе долга, которому приносится безхитростно и вмѣстѣ величаво въ жертву личное счастье. Общество, однако, шло впередъ, личность завоевывала себѣ новыя права, и быть „отданной другому“ — изъ общаго правила становилось исключеніемъ: на мѣсто покорнаго принятія своего „жребія“ явился свободный выборъ по влеченію сердца. И Лиза „Дворянскаго гнѣзда“ тоже приноситъ себя въ жертву долгу, но понимаетъ его уже гораздо шире, чѣмъ Татьяна. Но и на этомъ „чистѣйшей прелести чистѣйшемъ образцѣ“ нельзя было остановиться. Измѣнявшійся складъ общества, подмѣчаемый и часто предчувствуемый Тургеневымъ, звалъ женщину за предѣлы ея прежнихъ прекрасныхъ самихъ по себѣ задачъ: иногда исцѣлять, часто облегчать и всегда утѣшать. Открывалась область не одной пассивной и сострадательной любви, но область любви дѣятельной, когда приходится стать по отношенію къ избраннику сердца товарищемъ, другомъ и опорой въ житейской борьбѣ. И Тургеневъ нарисовалъ рядъ очаровательныхъ женскихъ образовъ, исполненныхъ этой дѣятельной любви, показавъ въ русской женщинѣ всѣ задатки духовнаго равноправія съ мужчиной, признавъ которые и давъ имъ свободное развитіе, слѣдовало открыть ей широкій путь къ гражданскому равноправію въ общественномъ быту и къ праву на всякій трудъ, который не противорѣчитъ ея физической природѣ.

Считая отличительнымъ признакомъ таланта и даже вообще самостоятельнаго творчества устраненіе въ произведеніи всего излишняго, Тургеневъ былъ всегда противъ передачи подробностей, въ ущербъ характеристическимъ чертамъ, почему его изложеніе является образцомъ сжатости и силы. Его завидное свойство владѣть тайною не только художественнаго, но и нравственнаго внушенія и умѣнье волновать не одною красотою, но и совѣстью своего таланта, сказывалось въ скупой сдержанности его описаній въ сценахъ любви. Тамъ, гдѣ иной развязный писатель, привыкшій, вмѣсто страстей, изображать пороки, написалъ бы цѣлыя страницы плохо прикрытой или лживо оправдываемой порнографіи, Тургеневъ ограничивался лишь нѣсколькими, свободными отъ житейской грязи, строками.

Онъ не былъ служителемъ „искусства для искусства“ въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его понимали у насъ многіе, старавшіеся въ исключительномъ поклоненіи самодовлѣющему значенію искусства отгородиться отъ нарушающей ихъ эгоистическую безмятежность „злобы дня“. Въ то же время онъ былъ и противникомъ односторонней тенденціи, которая, по точному своему смыслу, противорѣчитъ „достиженію“

въ творествѣ. Не предвзятая, навязанная, а иногда и угодливая предъ властью или вкусами толпы идея владѣла имъ при созданіи его произведеній, а личный опытъ, вынесенный изъ вдумчиваго созерцанія жизни въ различныхъ ея проявленіяхъ, изъ внимательнаго изученія характерныхъ особенностей людей, встрѣченныхъ имъ на жизненномъ пути. Онъ самъ говорилъ, что никогда не исходилъ отъ идеи, подгоняя къ ней дѣйствительность, а брался за авторское перо лишь тогда, когда образъ, создавшійся подъ вліяніемъ наблюденій надъ отдѣльными личностями или событіями въ ихъ житейскомъ разнообразіи, вставалъ предъ нимъ, какъ ясный и цѣлостный, и властно влекъ его къ творчеству. Онъ не втискивалъ въ заранѣе заготовленную, иногда мучительно придуманную, фабулу плохо прикрытые вымышленными именами портреты живыхъ лицъ, а изъ сопоставленія сложившихся у него готовыхъ образовъ въ различныхъ житейскихъ положеніяхъ создавалъ съ тонкимъ художественнымъ и психологическимъ чутьемъ содержаніе своихъ произведеній. Изъ большинства живыхъ представлений, одушевляющихъ эти произведенія, вездѣ звучалъ голосъ его собственной непреклонной любви къ людямъ, къ правдѣ, къ душевной красотѣ. Онъ сознавалъ, что горькая дѣйствительность часто идетъ въ разрѣзъ съ утилитарнымъ оптимизмомъ, проповѣдующимъ, не безъ натяжекъ, пользу добра, а потому въ произведеніяхъ его выступаетъ не польза, а красота добра, доставляющая нравственное наслажденіе, которое, въ свою очередь, способствуетъ оздоровленію души. Проповѣдь этой красоты, не въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ, а въ дышащихъ правдивостью изображеніяхъ, составляетъ одинъ изъ выдающихся мотивовъ его произведеній. Этому соотвѣтствовала, во многихъ своихъ проявленіяхъ, и личная жизнь Тургенева. Мягкій въ отношеніяхъ, довѣрчивый къ людямъ, несмотря на неоднократный горькій опытъ, Тургеневъ бывалъ уступчивъ до слабости во всемъ, что не имѣло принципіальнаго характера. Возможность огорчить отказомъ ставила его нерѣдко въ неловкія и тягостныя положенія. Онъ могъ бы, съ полнымъ основаніемъ, подписаться подъ послѣдними словами умирающаго Гладстона: „Доброта, доброта—вотъ что главное!“. Она была написана на его обрамленномъ раннею густою сѣдиною лицѣ, отъ котораго вѣяло свѣтомъ и тепломъ. И осуществлялъ онъ эту доброту съ трогательною стыдливостью, скрывая по возможности отъ тѣхъ, кому творилъ добро, свою въ ихъ пользу жертву временемъ, деньгами, тягостными хлопотами. Вотъ почему онъ часто самъ нуждался въ необходимыхъ средствахъ и вынужденъ былъ работать даже въ преклонные годы по вечерамъ, отдавая всѣ дневные часы на выслушиваніе жалобъ на судьбу, просьбъ о помощи и бездарныхъ сочиненій многочисленныхъ посѣтителей и посѣтительницъ, изъ которыхъ нѣкоторыя потомъ на него же и клеветали, подобно той кропательницѣ фельетоновъ, которая печатно заявляла, что Тургеневъ принималъ въ ней живое участіе въ Парижѣ, чтобы выпытывать у нея темы для своихъ сочиненій. Онъ писалъ друзьямъ и въ редакціи близкихъ ему журналовъ и газетъ, рекомендуя имъ начинающихъ авторовъ, невольно преувеличивая, движимый желаніемъ помочь, сомнительныя достоинства ихъ произведеній,—прибѣгалъ къ „*pia fraus*“ (благочестивой лжи), выдавая особо нуждавшимся между ними деньги, яко бы полученные за ихъ принятые для печати труды, умоляя редакціи „не выдать его“,—ѣздилъ къ знаменитому парижскому врачу, чтобы уплатить ему крупный гонораръ за леченіе бѣдной больной дѣвушки, увѣривъ послѣднюю, что ей слѣдуетъ платить лишь нѣсколько франковъ,—назначилъ всю плату за исполненіе своихъ драматиче-

ских произведений нуждавшейся женѣ своего пріятеля,—отдавалъ свои; довольно крупныя, произведенія въ разные благотворительные сборники—и т. д. Умѣя соединять объективную справедливость съ милосердіемъ, онъ находилъ,— въ своей жизни осуществляя это,— что человѣку слѣдуетъ научиться, при видѣ дѣйствительнаго паденія или слабости собрата, сочувствовать ему и помогать безъ тайнаго самоуслажденія собственной силой, со всяческимъ смиреніемъ и пониманіемъ естественности, почти неизбежности вины. Поэтому для него „безобразіе самодовольной, дешево доставшейся добродѣтели“ было едва ли не противнѣй „откровеннаго безобразія порока“. Во многихъ его произведеніяхъ чувствуется его вѣра въ возможность нравственнаго искупленія вины и сочувствіе подвигу, который съ этой цѣлью совершаетъ иногда павшій, но не дурной русскій человѣкъ.

Въ смыслѣ формы своихъ произведений, исключая большіе романы, онъ во многихъ отношеніяхъ явился создателемъ новыхъ приемовъ творчества, состоящихъ въ умѣнны вложить въ рамки небольшого рассказа строгое и серьезное содержаніе. Такъ поступалъ, быть-можетъ, по его примѣру или совѣту, и Мопассанъ въ своихъ глубокихъ по чувству и мысли короткихъ рассказахъ; таковы вещи Чехова, явившагося прямымъ и достойнымъ преемникомъ Тургенева. „Записки охотника“ были, въ сущности, первымъ произведеніемъ въ этомъ родѣ на русскомъ языкѣ. Въ противоположность существовавшему обычаю дѣлать предметомъ многословнаго и утомительнаго романа совершенно обыденныя, имѣющія характеръ анекдота или, наоборотъ, чуждыя всякой дѣйствительности отношенія и происшествія, Тургеневъ бралъ сюжетомъ настоящія житейскія драмы, рассказанныя сжато и выпукло, иногда съ Рембрандтовскою свѣтотѣнью.

Нужно ли говорить о великой службѣ, которую онъ сослужилъ родному языку, этому лучшему достоянію и святынѣ каждаго народа. Послѣ Пушкина, которому восторженно поклонялся Тургеневъ, и Лермонтова никто не выковывалъ въ своихъ произведеніяхъ такого сильнаго, образнаго и вмѣстѣ художественнаго языка, передающаго тончайшія ощущенія—и, сообразно съ ними, то спокойно и порой величаво звучащаго, то бьющаго отзывчиво или лихорадочно, какъ пульсъ живого организма.— „Во дни сомнѣній, во дни тягостныхъ раздумій о судьбѣ моей родины—ты одинъ мнѣ поддержка и опора, о великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ!“—воскликаетъ Тургеневъ, заканчивая свои высоко поэтическія „Стихотворенія въ прозѣ“ призывомъ беречь русскій языкъ и не обращать „могучаго рычага въ подпорки“,—призывомъ, который, къ нашему несчастью, оставляютъ въ наше время безъ вниманія разные ремесленники пера и психопаты искусства.

Завѣтъ Гоголя писателю — „просить у Бога гнѣва и любви“ — и совѣтъ Мицкевича — „имѣть сердце и смотрѣть въ сердце“ — были соблюдены Тургеневымъ въ его произведеніяхъ. Въ нихъ свѣтило и грѣло именно его собственное сердце, такъ глубоко умѣвшее проникать въ сердце и читателей, и описываемыхъ имъ людей. Но оно пылало и справедливымъ гнѣвомъ. Этотъ гнѣвъ послужилъ побудительнымъ поводомъ къ незабвенной общественной заслугѣ Тургенева передъ родиной. Говоря о ней, невольно приходится остановиться на его дѣтствѣ и ранней молодости, протекавшихъ безъ теплаго привѣта, безъ ласки и внимательнаго отношенія къ воспримчивой душѣ ребенка и къ впечатлительному сердцу отрока. Онъ имѣлъ полное право сказать словами Некрасова: — „Ничѣмъ я въ дѣтствѣ не плѣненъ — и никому

не благодаренъ!“. Въ Карамазовской, до извѣстной степени, обстановкѣ помѣщицкѣй усадьбы въ Спасскомъ-Лутовиновѣ царила жестоко и всевластно мать Тургенева. Отецъ писателя, — „красавецъ-мужчина“, поправившій свои дѣла женитьбой на богатой некрасивой дѣвушкѣ, — былъ человѣкъ равнодушный ко всему, и въ томъ числѣ къ дѣтямъ. Ограничась относительно ихъ ролью чистокровнаго производителя, онъ покорно склонялъ свою выю подъ иго жены. Его совершенно обезличила и обезволила эта женщина, образованная, мстительная, виртуозная по части жестокихъ оскорбленій подвластныхъ — будутъ ли это дѣти или дворовые — и сводившая на измученной и подавленной душѣ и на спинѣ своихъ крѣпостныхъ свои счеты съ судьбою, пославшей ей угрюмую и тяжелую молодость. Крѣпостное право отражалось не на однихъ крестьянахъ: оно наносило удары и вверхъ и въ стороны, принижая однихъ, растлѣвая другихъ, оскорбляя третьихъ. Къ послѣднимъ принадлежалъ Тургеневъ. Ежедневныя мелкія и крупныя злоупотребленія помѣщицкѣй власти оставляли въ его душѣ незаживавшіе нравственные рубцы — и, наконецъ, переполнили его сердце праведнымъ гнѣвомъ. Этотъ гнѣвъ нашель себѣ могучаго союзника въ великомъ талантѣ писателя и помѣшалъ ему, подобно многимъ изъ его современниковъ, искать утѣшенія въ философской формулѣ, что „все существующее разумно“, или отдаться безмятежному служенію „чистому искусству“. Сквозь „шопоть, робкое дыханье“ ему слышались заглушенные рыданія и стоны людей, обращенныхъ въ вещи, которыми можно торговать и уплачивать карточные долги. Поэтому, когда онъ, какъ художникъ, сталъ „смятенія и звуковъ полнъ“, — это смятеніе вызывалось въ немъ не „трелями соловья“, не „серебромъ и колыханьемъ соннаго ручья“, а созерцаніемъ рабскаго ига, которымъ, по выраженію Хомякова, была „клеймена Россія“, — и звуки эти были голосомъ сильнѣйшаго негодованія. Объясняя свое раннее (въ 1847 г.) бѣгство за границу, Тургеневъ самъ говоритъ: — „Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшилъ бороться до конца — съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва“.

Но вопросъ о готовности на эту борьбу со стороны писателя тѣми чудными средствами, которыя были даны ему судьбою, влекъ за собою другой: „какъ бороться?“. Крѣпостное право, несмотря на свое безобразіе, было не только однимъ изъ „устоевъ“ современнаго ему общественнаго устройства, имѣвшимъ по своему значенію право войти въ качества четвертаго члена въ пресловутую трехчленную формулу графа Уварова (православіе, самодержавіе и народность), но представлялось глубокимъ бытовымъ и органическимъ явленіемъ. Нападать на него, рисуя обратную сторону, т. - е. глубокое безправіе массы и широкое поле для возможности злоупотребленій, — было бесполезно; обращаться къ уму читателей и указывать на необходимость справедливости въ отношеніяхъ между членами государства, т. - е. дѣйствовать логическими доводами или взывать къ совѣсти, — не стоило: зло слишкомъ глубоко въѣлось и стало большинству казаться естественнымъ и, какъ законы природы, непреложнымъ явленіемъ. Оставалось дѣйствовать на чувство. И такъ какъ большинство мыслить образами, то въ этой области и надо

было почерпнуть оружіе для своего воинствующаго творчества. Недаромъ Гоголь совѣтовалъ:— „Заговори съ обществомъ на мѣсто жаркихъ разсужденій живыми образами, которые, какъ полные хозяева, входятъ въ души людей,—и двери сердець раскроются сами къ принятію ихъ, если только почувствуютъ, хоть каплю почувствуютъ, что они взяты изъ нашей природы, изъ того же тѣла“. Поэтому и воевать слѣдовало художественными образами, почерпнутыми изъ крѣпостного быта и нравовъ. Любовь къ крѣпостному человѣку,—къ крестьянину и дворовому,—свѣтится на всѣхъ страницахъ „Записокъ охотника“. Она вливается въ душу читателя и, несомнѣнно, заставила многихъ добрыхъ и порядочныхъ, но близорукихъ или ослѣпленныхъ людей прозрѣть и, почувствовавъ въ каждомъ изъ незамѣтныхъ героевъ „Записокъ охотника“ брата, почуять въ крѣпостномъ складѣ жизни своего нравственнаго врага. Такой смыслъ имѣли эти—и близкіе къ нимъ по содержанію—незабвенные разсказы даже для вдумчивыхъ людей со стороны. Достаточно сказать, что Карлейль называлъ „Муму“ самую трогательную повѣсть въ свѣтѣ. Вліяніе „Записокъ охотника“ и этой повѣсти было равносильно ихъ значенію. Есть слова, вырывающіяся изъ сердца и заставляющія безсильно опустить руки; есть другія, вливающія въ него благотворное чувство обновленія. Къ первымъ относятся роковыя—поздно и тщетно; ко вторымъ—жалко и стыдно. „Записки охотника“ вонзились, какъ стрѣла, въ сердце читателей: послѣднимъ сдѣлалось жалко, имъ стало стыдно... Но, къ счастью, еще не было поздно. Есть несомнѣнное свидѣтельство, что наслѣдникъ престола читалъ „Записки охотника“ и правильно оцѣнилъ вложенную въ нихъ мысль. Конечно, не одно это чтеніе подвигло Александра II на дѣло освобожденія крестьянъ, но Тургеневъ имѣлъ полное основаніе сказать про рѣшеніе государя, принятое, вопреки всевозможнымъ противодѣйствіямъ, настойчиво и рѣшительно,—„и моего тутъ меду капля есть“—и капля большая. Заслуга Тургенева,—какъ идейнаго подготовителя великаго дѣла,—не можетъ и не должна быть забыта. Онъ имѣлъ полное право плакать умиленными слезами душевнаго удовлетворенія на молебнѣ, заказанномъ имъ въ Парижѣ по поводу 19-го февраля 1861 года, вмѣстѣ со старикомъ-декабристомъ княземъ Волконскимъ.—„Для твоего памятника“,—сказалъ, провожая прахъ Тургенева въ Россію, Edmond About,—„достаточно будетъ обрывка цѣпи, брошеннаго на могильную плиту; твое честное самолюбіе было бы удовлетворено такимъ мавзолеемъ, и этотъ символъ громко говорилъ бы о томъ, что ты сдѣлалъ для своей родины“.

Когда надъ русской землей прозвучалъ благовѣстъ освобожденія крестьянъ, Тургеневъ могъ бы сказать себѣ:—„Нынѣ отпускаеши“... Но онъ зналъ, что говорить это еще рано, что крѣпостное право пустило слишкомъ глубокіе, развращающіе всѣ слои общества корни, и что мы сдѣланы изъ плохой глины: нагрѣваемся очень скоро, но жаръ хранить умѣемъ недолго. Онъ понималъ, что измѣненіе нравовъ и впитанныхъ рядомъ поколѣній взглядовъ почти всегда—и притомъ значительно—отстаетъ отъ законодательныхъ преобразованій,—и въ перестроенномъ наскоро зданіи остаются старые, лишь на время притихшіе жильцы. И онъ не успокоился, а съ зоркимъ перомъ въ рукѣ принялся слѣдить за вибріономъ крѣпостничества, указывая на него русскому читателю. Убѣжденный поклонникъ органическаго общественнаго развитія, безъ судорожныхъ прыжковъ впередъ и боязливыхъ отступленій назадъ, мягкій по складу своей души, Тургеневъ

никогда не впадалъ въ рабскую лѣсть—ни передъ толпой, ни передъ отдѣльными группами или лицами. Въ его сочиненіяхъ, затрогивавшихъ иногда очень острые вопросы современности, господствовало, если можно такъ выразиться, художественное правосудіе. Любовь Тургенева къ русскому человѣку и къ русской землѣ, такъ нѣжно и красиво выраженная, напимѣръ, въ „Деревнѣ“ его „Стихотвореній въ прозѣ“, не была слѣпою, способною видѣть одни лишь достоинства и упорно закрывать глаза на недостатки. Этимъ онъ выгодно отличался отъ современныхъ ему славянофиловъ и ихъ преемниковъ, нападавшихъ на его „западничество“ за то, что онъ вооружался противъ мистическихъ представленій объ исключительномъ призваніи русскаго человѣка, отыскивая въ его жизни и свойствахъ трезвую правду и не утѣшая себя восторженнымъ представленіемъ о немъ, какъ о „богоносцѣ“, призванномъ сказать міру новое слово. Человѣкъ всею душою русскій, онъ былъ чуждъ слѣпого культа „своего“, который часто переходитъ въ пагубный шовинизмъ. Любить отечество не значитъ страдать патристической близорукостью. Его смущало безволіе русскаго человѣка и затрата имъ большихъ природныхъ силъ на пустяки,—отсутствіе настойчивости, выдержки и любви къ труду,—способность подъ вліяніемъ душевнаго подъема на подвигъ и неохота къ простому исполненію долга.

Если въ своей творческой работѣ Тургеневъ иногда и давалъ волю своему искреннему и далеко не безрезультатному гнѣву, то въ частной жизни онъ былъ незлобивъ и великодушно прощалъ „мечь враговъ и клевету друзей“, вызванную либо недостойною завистью, либо его стремленіемъ освободиться отъ „директивъ“ партійной „кружковщины“, либо, наконецъ, озлобленіемъ по поводу сдѣланныхъ имъ остроумныхъ характеристикъ своихъ собратій по перу. Гдѣ было возможно, онъ искалъ примиренія и забывалъ враждебное къ себѣ отношеніе. Когда его личная жизнь обратилась въ медленное и мучительное умираніе, мысли его оставались вѣрны тому высокому дѣлу творчества, которое было его призваніемъ. Римляне говорили:—*„Caesarem licet stantem mori!“* („Цезарю подобаетъ умирать стоя!“). Но и литература имѣетъ своихъ цезарей, и однимъ изъ нихъ былъ умиравшій Тургеневъ. Онъ выпрямился передъ кончиною во весь свой духовный ростъ и, уже отрѣшившись отъ всего личнаго земного, обратилъ свою мысль на судьбу родного, дорогого ему слова. Собравъ послѣднія силы, дрожащею рукою, карандашомъ написалъ онъ послѣднее свое письмо—письмо къ Льву Николаевичу Толстому, который долгое время относился къ нему недоброжелательно:—„Я былъ и есмь на смертномъ одрѣ... Пишу Вамъ собственно, чтобы сказать, какъ я былъ радъ быть Вашимъ современникомъ, и выразить Вамъ мою послѣднюю, искреннюю просьбу. Другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности! Вѣдь этотъ даръ Вашъ оттуда, откуда все другое. Какъ я былъ бы счастливъ, если бы могъ подумать, что просьба моя такъ на Васъ подѣйствуетъ!! Я же человѣкъ конченный. Другъ мой! великій писатель русской земли—внемлите моей просьбѣ!... Не могу больше... Усталъ!“.—Его лицо, по свидѣтельству очевидцевъ, приняло величавое спокойствіе смерти. Сдвинутыя брови придавали ему строгій видъ. Но вскорѣ къ нему вернулось его доброе и кроткое выраженіе лица. Хочется думать, что въ свои послѣднія сознательныя минуты онъ былъ окруженъ искреннимъ, а не показнымъ вниманіемъ, но грустно знать, что около него не было близкаго и родного русскаго человѣка, который на его:—„Не могу